

**Чалмаев, В. Повести и рассказы Вяч. Кондратьева [Текст] / В. Чалмаев // Чалмаев, В. На войне остаться человеком : фронтовые страницы русской прозы 60-90-х годов : в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В. Чалмаев. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – С. 85-91.**

Повести и рассказы Вяч. Кондратьева, прежде всего «Сашка», как и повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие», роман В. Богомолова «Момент истины (В августе сорок четвертого)», повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка», повесть Евг. Носова «Усвятские шлемоносцы» и его же рассказы «Красное вино победы» и «Шопен, соната № 2», определили лицо «новой волны», ее место в литературном пейзаже целого десятилетия. Она была непохожа и на «лейтенантские» повести Ю. Бондарева, Гр. Бакланова, К. Воробьева, хотя и не являлась ее антиподом. С другой стороны, она, используя онтологический опыт «деревенской», «лагерной» прозы (особенно новелл В. Шаламова), добилась нового эпического звучания именно моральных проблем. Человеческая личность в этих произведениях настолько концентрирует в себе все подробности давления и стеснения времени, среды разных десятилетий, страхи и радости рода, семьи, что происходит истинно эпическое укрупнение характеров и конфликтов.

Вячеслав Леонидович Кондратьев (1920—1994) волей судеб оказался в годы войны в рядах тех бойцов, что долгие месяцы штурмовали и не могли взять смоленский город Ржев, срезать «ржевский выступ», максимально приближенный к Москве. Помните, даже безымянный герой стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом» так и не узнал перед смертью в безымянном болоте, «нашли Ржев наконец». Бои за Ржев, пожалуй, не сражение, а какое-то затянувшееся стояние. В болотах, в тощих разреженных лесах, в траншеях, сразу заполнявшихся водой, с атаками и контратаками. Здесь люди гибли и от мороза, и от простуды. Недаром герой повести Кондратьева «Сашка» (1979), главного «ржевского» произведения писателя, очень хочет добыть (снять с убитого немца) валенки: «Для себя ни за чтобы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались — и за лето не просушишь, а тут сухонькие наденет и походит в сухом, пока ему сапоги со склада не доставят... Ладно, была не была!»

Подвиг Сашки — пленение немца — связан с этим внешне заурядным походом за валенками. Сашка, застигнутый на нейтральной полосе артналетом, первым увидел «большие, серые, размытые предутренней дымкой, страшные» фигуры немцев, идущих в атаку, а затем уже, в ходе контратаки, он без патронов в автомате, «дуриком» и свалил немца...

Таково свершение подвига, «протекание» его во времени и

ржевском пространстве. Фактически «Сашка» — солдатская проза с более бедным и узким персонажным рядом, словарем, с заботами и тревогами крайне будничного плана. Еще герой Гр. Бакланова в повести «Пядь земли» Бабин говорил: «Больше трех раз пехотинец в атаку не ходит. Либо вчистую, либо в госпиталь». Поэтому и яркости особой в аудиовизуальном ряду, доступном пехотинцу, быть не может и сюжетный порох, длительность самой войны в солдатской повести весьма ограничены.

Солдатская судьба — с ранениями, госпиталями, пересылками, маршевыми ротами — в известном смысле дробна, «новеллистична».

Кондратьев довольствуется минимумом сюжетных поворотов, сдвигов, набором простых, но абсолютно точных ситуаций. Куда дели солдаты Сашкиного пленного? Да просто поручили Сашке же сдать его в ближайшем тылу? Кому? Комбату, увы, пребывавшему в страшном состоянии гнева, ярости после гибели медсестры Катеньки... Сашка не выполнил его приказ о расстреле немца, спас пленного, ставшего еще более «своим». И вернулся в свой взвод, где и был ранен. Такова «мотыльковая» судьба солдата. Дневников солдат вести не мог, письма его не могли быть подозрительно подробными, фотография — чаще всего строевая. И весь последующий сюжет «Сашки» — очень частный. Это скитания героя, его блуждания, «одиссея» поисков госпиталя, серия встреч и разлук, новых утрат. И обостренные раздумья о времени и о себе.

Странническое существование героя, как оказалось, имело и скрытую глубину. Характер Сашки, как он вылеплен в повести, писатель, сейчас это очевидно, выстрадал всей жизнью. Он понятен в контексте поступков и решений многих других героев Кондратьева.

В одном из писем к В.П. Астафьеву — незадолго до трагического самоубийственного выстрела Кондратьева — в сентябре 1993 года, после разгона Верховного Совета и до его танкового расстрела — Кондратьев писал: «У меня же две крови — со стороны отца мужицкая, со стороны матери — дворянская, в целом — русская, дурацкая, в том смысле, что землю мы свою слишком любим, за все переживаем, а сделать-то можем маловато». Вот это «слишком» (вспомним есенинское — «слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть»), может быть, долго не позволяло ему вообще писать о войне. А ведь он был в душе художником, знал муки слова уже на фронте.

Разве не поэт, не биограф эпохи тот человек, который мог запомнить такие подробности из быта ржевского пятачка:

«Помню, в первый же день нашего прихода на передовую, еще не освоившимся с тем, что увидел, еще находясь в шоке от обилия трупов и на поле, и на самой передовой, вдруг кто-то заметил, как на поле среди трупов поднимается кто-то и направляется в нашу сторону... Картина для наших и так напряженных до предела нервов

была, надо сказать, жутковатая сама по себе, но, кроме того, узнали мы, что, оказывается, не всех раненых забирают с поля боя, а нам как раз и предстоял бой и, возможно, кого-то из нас также оставят помирать там. В сорок втором я написал стихотворение «Письмо матери», в нем есть такая строка:

*...И умирает на поле не воин,  
Не страшный для врага солдат,  
А мальчик маленький, который, корчась в боли,  
В последнем стоне кличет мать...*

Кличет мать... Собственно и два рассказа Кондратьева, как бы предшествующих повести «Сашка» (хотя они и написаны после нее), — это в той или иной форме «стон», может быть, крик боли, тревоги, недоумения, образ шокового состояния души.

В рассказе «На станции "Свободный"» писатель сделал даже конкретное указание на особое бремя, лежавшее на юношах из подозрительных дворянско-мужицких семей. Рассказу предпослан эпиграф-посвящение: «Тем многим сверстникам, которым воевать было труднее, чем остальным, но воевавшим не хуже, а может, и лучше других». Бремя дворянского происхождения... Особенность этого бремени раскрыта в очень немногих подробностях рассказа. Молодому солдату — москвичу Андрею Шергину, служащему на Дальнем Востоке в 1941 году, еще шлет — какая ненужная утонченность! — папиросы мать. «Она набивала их самым хорошим «любительским» табаком, это обходилось много дешевле, чем в пачках».

Где же отец юного героя? Об этом и он, и мать по молчаливому соглашению не пишут в письмах. А он, возможно, не столь уж и далеко от Андрея.

Случайно на станции «Свободный» герой видит толпу заключенных, посаженную, вернее, брошенную окриком охраны на землю, на колени:

Перед ним расстилалось что-то серое... Именно расстилалось, потому как люди — а это были люди! — стояли на коленях, спиной к нему, а лицами к длинному товарному составу... Андрея шатнуло.

В 90-е годы многие писатели-фронтовики (например, В. Астафьев) будут подчеркивать иррациональный, всемирный характер Зла, вселившегося в мир. И фронт 1941—1945 годов для них вовсе не разграничительная линия между абсолютным Добром и абсолютным Злом. О том, как удобно занять эту умозрительную, скажем так, нарисованную позицию, мы укажем при анализе романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». Андрей Шергин зашатался не от доводов риторики, не от предложенной ему в 90-е годы тенденциозной позиции.

*Он зажал рот рукой, чтоб не вырвалось стона или крика (еще раз вспомнил*

*и о кричащих облаках С. Наровчатова, и о «Крике» К. Воробьева. — Б.Ч.), и стоял, не в силах отвести взгляда от этой массы покрытых пылью людей... Да нет, не людей, а какого-то неведомого существа... чудища. «Чудище обло, озорно, огромно»... — всплыли почему-то строки радищевского эпитафия. Господи... отец... Неужели и он вот так... на коленях? Его отец — на коленях! И Андрей еще сильнее прижал руку ко рту, еле удержав стон.*

Финальный вопрос пожилой женщины на том же вокзале, обращенный к Андрею: «Как воевать-то будешь, сынок, ежели война начнется? — это в сущности и вопрос матери Андрея. И вопрос к другому сыну, герою повести «Дорога в Бородухино», задаваемый матерью в том же 1941 году, но уже в условиях сражения под Москвой.

Как воевать сыну, оказавшемуся под Малоярославцем, жаждущему увидеть мать? Вера Глебовна понимает, что воевать можно и с опустошенной душой, когда и своя жизнь не дорога, «копейка», и чужой жизни, тоже «копейки», тем более не жаль. Можно воевать и с люмпенизированным сознанием пасынка, отверженного Родиной. А можно опереться на то заветное «слишком» («Землю мы свою слишком любим»), что создает цельность души, сохраняет человеческую меру всех поступков. Даже в отношении к пленному. Вера Глебовна едет в эту деревню Бородухино, постепенно вобрав в душу все впечатления от попанной земли, пепелищ на месте сел, придя к мысли: «Россия — одна! Преодолеть себя надобно. Преодолеть!. Пока война — все из сердца прочь!»

Можно сказать, что эти два звена биографии Сашки, вынесенные за пределы повести, объясняют и редкое интонационное богатство голоса автора-повествователя. В этом плане Кондратьев — лучший, вероятно, ученик В.П. Некрасова. Друзья создателя повести «В окопах Сталинграда» отмечали как одно из завоеваний его прозы «прелесть неповторимой его интонации» (А.Берзер), искусство «неавторского» и одновременно не вполне сказового повествования, чувство меры, когда герой никогда не превышает своих речевых возможностей. В то же время Кондратьев как бы помогает герою совместить «неавторскую» речь, точнее сказанные монологи, стилистические маски природного простеца, наивного открывателя форм окопного бытия, и мыслеоощущения, работающие на общую идею, лежащую вне данного произведения, извлекаемую из суммы произведений о войне. Эта помощь автора «Сашки» выражается весьма искусно:

1) в поисках, выделении и акцентировании опорных сюжетных моментов, окопной событийности, часто трагической, неудобной для занимательного комбинирования мотивов, настроений, всех тех «преодолений» себя, о которых говорилось в повести «Поездка в Бородухино». Таким опорным сюжетным моментом стало в повести случайное пленение Сашкой немца и спасение его же («этого гада») от безрассудного приказа комбата о расстреле;

2) «отделить» героя от автора помогли и неожиданно-негаданно, как в сказке «откуда ни возьмись», спутники Сашки по скитаниям, вернее, «однопутники» — Жора (Григорий) с его роковыми восторгами перед чудом весны, цветением лугов и лейтенант Володька.

Фактически повесть причудливо рассыпается на фрагменты, сценки, в которых скрыты приглушенные сюжеты, жаждущие развертки, полного высвобождения сюжетных готовностей. Такова история встречи Сашки с медсестрой Зиной и этап повзреления, ухода от нее. Еще более новеллистична встреча с женщиной из села Прямухина, пожалевшей Сашку. Из-за сходства его с погибшим еще на границе мужем Максимом: сквозь видимую идиллию просвечивает глубокое несчастье этой вдовы в двадцать пять лет.

Что же объединяет скопление микроновелл, помогает сдержать, как выразился по другому поводу Ю.М. Лотман, «лавинообразный рост сюжетных возможностей»?

Дело в том, что сам характер Сашки, в сущности незлобивого, не агрессивного человека, радующегося тому, что вокруг него исчезло ощущение подозрительности, навязанной псевдосвободы, выражает новый подход всей военной прозы к проблеме «человек на войне». И в том числе — к врагу. Любопытная подробность. Немец не произносит стандартного, спасительного «Гитлер, капут!». Он не трус, не приспособленец, но и не фашист. Убить такого «упрямца», к тому же берущего на себя вину своего народа за опьянение гитлеризмом, — куда проще. И приказ есть.

Но Сашке вдруг стало страшно — и за себя, за человека в себе, и за немца! — после того, как пленный испугался, растерялся даже от бессистемного повторения слова «шиссен» (стрелять): «И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит... Сашке даже как-то не по себе стало»

Безусловно, подобный сюжетно-нравственный перелом в герое Кондратьева произошел не без воздействия повести В. Некрасова «Вторая ночь» (1960) об открытом, не знающем меры своей доверчивости, доброты сапере Леньке Богораде. Он искренно влюблен в своего командира капитана Орлика, мечтает не о панибратских отношениях с ним! — об одном: «Я не знаю, правда, может, солдату и нельзя с офицером, но я вот, товарищ комбат, очень хотел бы с вами выпить, честное слово». И что же в итоге? Когда Ленька убил немца в ночном бою, когда он увидел впервые лицо врага (на мирных фотографиях из планшета убитого), когда услышал веселые, пошловатые шутки об этом враге, то желанная чарка замерла в его руке: он опустил голову и не стал пить с «испортившим» себя в его глазах капитаном...